

СОДЕРЖАНИЕ

Письмо В.И. Ленина Ф.Э. Дзержинскому	7
Декрет ВЦИК. Об административной высылке	9
Первое предостережение	11
<i>Л. Троцкий.</i> Диктатура, где твой хлыст?	12
<i>М. Осоргин.</i> Как нас уехали	14
<i>С. Трубецкой.</i> Москва. Высылка за границу	26
<i>В. Решикова.</i> Высылка из РСФСР	50
<i>Н. Бердяев.</i> Покидая Россию	
Протокол допроса Н.А. Бердяева	62
Показания по существу дела	63
Заключение ГПУ о высылке Н.А.Бердяева	
19 августа 1922 г.	65
Россия и мир запада	66
<i>Ф. Степун.</i> Октябрь	123
<i>П. Сорокин.</i> Отправляясь в дорогу	
Отправляясь в дорогу	334
Жизнь в царстве смерти: 1919-1922	339
На поприще коммунистической культуры	339
Мартиролог	342
В Царском Селе	345
Искупление	348
Новая бойня	350
SOS	352
Высылка	356

Эмигрант	363
В дружественной Чехословакии	363
Новый кризис: восстановление целостности моего мировоззрения	370
Вместо эпилога	372
Приложение. Лица, высланные за границу в 1922—1923 гг.	373
Примечания	394

Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывет кровать,
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать...

...Но сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звезды, ночь расстрела
и весь в черемухе овраг.

В. Набоков. 1927 г.

Письмо В.И. Ленина Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ

19.05.1922

Т. Дзержинский! К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции.

Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим. Прошу обсудить такие меры подготовки.

Собрать совещание Мессинга, Манцева и еще кое-кого в Москве.

Обязать членов Политбюро уделять 2—3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг, проверяя¹ исполнение, требуя письменных отзывов и добиваясь присылки в Москву без проволочки всех некоммунистических изданий.

Добавить отзывы ряда литераторов-коммунистов (Стеклова, Ольминского, Скворцова, Бухарина и т.д.).

Собрать систематические сведения о политическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей.

Поручить все это толковому, образованному и аккуратному человеку в ГПУ.

Мои отзывы о питерских двух изданиях:

«Новая Россия» № 2. Закрыта питерскими товарищами.

Не рано ли закрыта? Надо разослать ее членам Политбюро и обсудить внимательнее. Кто такой ее редактор Лежнев? Из «Дня»? Нельзя ли о нем собрать сведения? Конечно, не все сотрудники этого журнала кандидаты на высылку за границу.

Вот другое дело питерский журнал «Экономист», изд[ание] XI отдела Русского технического общества. Это, по-моему, явный центр белогвардейцев. В № 3 (только третьем!!! Это nota bene!) напечатан на обложке список сотрудников. Это, я думаю, почти все — законнейшие кандидаты на высылку за границу.

Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг и шпионов и растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих «военных шпионов» изловить и излавливать постоянно и систематически и выслать за границу.

Прошу показать это секретно, не размножая, членам Политбюро, с возвратом Вам и мне, и сообщить мне их отзывы и Ваше заключение.

Ленин

ДЕКРЕТ ВЦИК. ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ВЫСЫЛКЕ

10 августа 1922 г.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет постановляет:

1. В целях изоляции лиц, причастных к контрреволюционным выступлениям, в отношении которых испрашивается у Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета разрешение на изоляцию свыше двух месяцев, в тех случаях, когда имеется возможность не прибегать к аресту, установить высылку за границу или в определенные местности РСФСР в административном порядке.

2. Рассмотрение вопросов о высылке отдельных лиц возложить на Особую Комиссию при Народном комиссариате внутренних дел, действующую под председательством народного комиссара внутренних дел и представителей от Народного комиссариата внутренних дел и Народного комиссариата юстиции, утверждаемых Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

3. Постановления о высылке каждого отдельного лица должны сопровождаться подробными указаниями причин высылки.

4. В постановлении о высылке должен указываться район высылки и время ее.

5. Список районов высылки утверждается Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительного комитета по представлении Комиссии.

6. Срок административной высылки не может превышать трех лет.

7. Лица, в отношении которых применена административная высылка, лишаются на время высылки активного и пассивного избирательного права.

8. Высланные в известный район поступают под надзор местного органа Государственного Политического Управления, определяющего местожительство высланного в районе высылки.

9. Побег с места высылки или с пути следования к нему карается по суду согласно статье 95 Уголовного Кодекса.

На основании настоящего постановления Народный комиссариат внутренних дел издает подробную инструкцию местным органам.

*Председатель Всероссийского
Центрального Исполнительного
Комитета М. Калинин
Секретарь Всероссийского
Центрального Исполнительного
Комитета А. Енукидзе*

ПЕРВОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если этим господам не нравится в Советской России — пусть они наслаждаются всеми благами буржуазной свободы за ее пределами. <...> Среди высылаемых почти нет крупных научных имен. В большинстве это — политиканствующие элементы профессуры, которые гораздо больше известны своей принадлежностью к кадетской партии, чем своими научными заслугами.

Лев Давидович Троцкий

ДИКТАТУРА, ГДЕ ТВОЙ ХЛЫСТ?

(отрывок)

Мы всегда знали, что философия «чистого» искусства, как и само чистое искусство, есть ложь... Философия чистого искусства и литературная критика, стоящие под этим же знаком, всегда и неизменно обнаруживали ослиные уши реакции. И уши эти отличались в разные периоды только длиной.

У господина Ю. Айхенвальда уши длины непомерной, и первое впечатление от его книги — это удивление: как это в Советской России — даже в момент десятимесячного перемирия с буржуазным миром — нашлись бумага, шрифт и типографские чернила для того, чтобы дать столь полное отражение длинейшим ушам айхенвальдовского чистого искусства. Мы здесь не литературную критику или антикритику собираемся писать. Мы ставим чисто политический вопрос. Или вернее — мы зовем к политическому ответу.

...Пропитана трусливо-пресмыкающейся гнидой, гнойной ненавистью к Октябрю и к России, какой она вышла из Октября. Сей жрец чистого искусства подходит к поэтам и к поэтессам, проще всего, с той бескорыстной эстетической целью, чтобы найти у них чуть-чуть замаскированный булыжник, которым можно было бы запустить в глаз или в висок рабочей революции. Если удар неметок, то никак не потому, что не хватает злой воли. Господин Айхенвальд начинает издалека. Мы упомянули об ушах, это дает основание думать, что у него имеются и другие соответствующие атрибуты...

Это философский, эстетический, литературный, религиозный блюдолиз, то есть мразь и дрянь. Во внутренних борениях трусости с надеждой он и не успел, очевидно, в свое время бежать из пределов «бесславия». Пять лет он накапливал свой гной низверженного приживала. А теперь НЭП открыл шлюзы его творчеству. И он осмелел. И он вынес в литературу свои длинные уши, свои эстетические копыта и злобный скрип своих изъеденных пеньков.

Старый мир был «родовит», в этом Айхенвальд подобострастно прав. Но представители, защитники, адвокаты и эстеты старого мира в рабочей республике — безродные псы. В этом великолепно прав Блок. Безродные псы — несмотря на НЭП, на десятимесячное перемирие с буржуазной Европой и на все каннские пункты. Безродные псы!

У диктатуры не нашлось в свое время для подколодного эстета — он не один — свободного удара хотя бы древком копья. Но у нее, у диктатуры, есть в запасе хлыст, и есть зоркость, и есть бдительность. И этим хлыстом пора бы заставить Айхенвальда убраться за черту, в тот лагерь содержания, к которому он принадлежит по праву — со всей своей эстетикой и со всей своей религией¹.

Михаил Андреевич Осоргин

КАК НАС УЕХАЛИ

На Москва-реке, под крутым берегом деревни Барвиха, под правым ее крылом, опытный рыболов может проводить часы и дни не без пользы и с удовольствием. Деревню Барвиху открыл молодой сельскохозяйственный профессор, бывший в немалом уважении у правящих, а сейчас сидящий в узилище. В первое лето он сманил в Барвиху своих приятелей писательского звания; из них один сейчас создает идеологию газеты «Возрождение», а другой выступает еретиком в «Последних новостях». Еще через год в Барвихе поселилось много дачников, часть которых и до сей поры не изменила деревушке, а часть предпочитает Пиренеи и Пари-пляж.

Десять лет — достаточный, по-моему, срок, чтобы о личном трагическом писать с улыбкой. И все-таки с некоторым беспокойством я приступаю к этой страничке юбилейных воспоминаний: вспомнишь что-нибудь забавное, что другие позабыли, — и выйдет недоразумение. Поэтому, вопреки доброму обычаю, буду больше говорить о себе, чем ег людях одной судьбы.

На берегу были густые заросли, в которых сидеть с удочкой покойно, а сверху не видно. Последнее было очень важно, потому что, по уговору, я не должен был сидеть на виду. Даже перекусить обещали принести мне сюда; а в случае каких-нибудь полуожиданностей прибежит ко мне мальчик или помашет платком с видного места.

Как на грех, брал только ерш, а это скучно. Смотав удочки, я хотел переменить место — и увидел сигнальщика. Значит, — собирайся, приехали! В эту минуту реши-

лась для меня судьба предстоявшего десятилетия — а то и больше.

Дело в том, что почтенному философу², с которым мы тогда делили деревенский уют и который сейчас живет в Кламаре, пришло в голову побывать в Москве на своей городской квартире. Ждали его обратно вечером, но он не вернулся. Вместо него приехал знакомый и рассказал, что в Москве идут аресты писателей и профессоров, и в числе других взят и наш милый Николай Александрович.

При нашей привычке к тогдашним нелепостям арест Н. А. Бердяева — величайшая политическая чепуха — нас не удивил. Называли и других, столь же чуждых всякой активной политике, столь же далеких от того, чтобы быть «врагами революции» и «белогвардейцами». Значит — такая уж судьба, просто — пришел черед. Поэтому, ночь переспав на даче, с утра я засел в камышах — может быть, и за мной приедут. А так как только этой весной я вернулся из казанской ссылки (за участие в помощи голодающим), то очень не хотелось опять возвращаться на Лубянку, где перед ссылкой я прошел курс трехмесячного гниения в зацветшей плесенью камере.

Адресных столов в деревне не водится, а местный совдеп за рекой. Когда я с удочками проходил мимо перевоза, там слезали с автомобиля приметные фигуры с наганами и в суконных шлемах, созданных по рисунку художника Бертрама. Они торопились, а я не спешил, — и разошлись мы мирно. Не станет же враг отечества и пролетариата шляться с удочками по берегу Москва-реки! Потом, уже из прилеска, с. высокого места, я видел, как они возвращались в лодке, заводили машину и, гудя мотором, подымались в нашу дереvушку.

Люди были не простые, а хитрые; не ворвались с полицейской грубостью, а вежливо сообщили, что имеют передать мне письмо от товарища Луначарского, но непременно лично. Так как с тов. Луначарским я в переписке Отродьясь не состоял (кстати, — и зря трепали его имя, он был

против нашей высылки!), то приехавшим заявили, что я в Москве. Уехали с недоверием, поставив крестьян сторожить ночью. Не знаю, взяли ли бы меня крестьяне, если бы я вернулся. Но сторожить — сторожили и между собой беседовали о событии:

— Того, патлатого, в городе забрали, а этот, видишь, ушел.

В их представлении мы, вероятно, были ловкими бандитами. По признаку патлатости, несмотря на всегдашнее изящество летнего костюма (мне, как рыболову, несвойственное), Н. Бердяев мог легко сойти за атамана.

И вот иду, сначала полями, затем углубившись в лес. Как раз в эти дни повылезли из земли белые грибы — целыми выводками, крепкие, полные соблазна. И жалко их ломать — и невозможно не наклоняться! Удочки и рыболовный мешок я бросил в кустах, собирать грибы не во что. Очень было обидно. Через лес проложена дорога, от которой я держался в сторонке; раз, услышав шум мотора, залег на минуту в густой чаще. А проходил через заповедный лес, где сосны стоят со дней царя Алексея Михайловича, и ствол в поперечнике в рост большого человека. Это была последняя красота, которую я видел в России.

Думаю, что путь я избрал правильный: в сторону летней резиденции многовластных людей: Троцкого, Дзержинского, Каменева. Было какое-то очень странное старое имение, окруженное высокой каменной стеной; туда они приехали отдыхать из Москвы, там жили их семьи. А в стороне, совсем рядом, три крестьянских домика, из которых один был мне дружелюбен; в нем я и решил провести несколько дней, пока выяснится, почему нас преследуют и что нас ждет. Здесь искать уж, конечно, не будут, — и, правда, не искали.

По малой своей осторожности, выходя гулять в лес, встречался с дачниками, и не совсем удачно: один раз — с сестрой Каменева, другой — с женой и сыном Троцкого;

обе сановницы меня, кажется, знали, Каменева во всяком случае; она была раньше постоянной посетительницей нашей, лишь недавно ликвидированной Лавки писателей. Об арестах писателей и ученых говорила вся Москва, так что и здесь, конечно, знали: однако для меня обе встречи прошли благополучно.

Но не вечно же жить в лесу? Из Москвы сообщили, что некоторые из арестованных уже выпущены, и всех высылают за границу. Высылка применялась впервые, — все же это лучше тюрьмы. За что берут и высылают самых мирных людей — неизвестно; но в то время у нас гулял по Москве анекдот про анкету, которую должны были заполнять все граждане. В этой анкете был будто бы такой пункт:

«Были ли вы арестованы, и если нет, то почему?»

Коротко говоря — отправился и я на Москву, конечно — не домой, а в дружеский дом, в частную лечебницу, где меня записали больным. Делами арестованных и высылаемых ведал следователь ГПУ товарищ Решетов (тогда неизменно прибавляли к фамилиям слово «товарищ»). Рискнул ему телефоновать:

— Товарищ Решетов?

— Я. Кто спрашивает?

— Такой-то. Правда ли, что вы меня разыскиваете?

— Д-да...

— Что же, приехать к вам?

— Да, вы должны явиться.

— А скажите, товарищ Решетов, вы меня не того, не задержите?

Строгим голосом:

— Я не обязан, гражданин, отвечать на такие вопросы.

— Да нет, вы меня не поняли! Я просто хочу знать, брать ли мне подушку, папиросы и прочее?

Немного повременил и менее грозным голосом ответил:

— Можете не брать.

В Москве шел слух, что в командующих рядах нет полного согласия по части нашей высылки; называли тех, кто был «за» и кто был «против». Плохо, что «за» был Троцкий.

Вероятно, позже, когда высылали его самого, он был против этого!

Таким образом полоса паники уже прошла, а многие нас даже поздравляли: «счастливые, за границу поедете!». И все же к зданию ГПУ, где я сидел дважды, и в «Корабле смерти» и в «Особом отделе», я подходил не без ощущения пустоты в груди. Но раньше меня туда привозили, теперь шел сам. И оказалось, что добровольно попасть в страшное здание не так просто!

— Куда вы, товарищ, нельзя сюда!

— Меня вызвали.

— Предъявите пропуск!

— Нет у меня пропуска, по телефону вызван.

— Нельзя без пропуска, заворачивай.

— Да мне к следователю.

Все-таки пропустили в канцелярию. Но и здесь с полчаса отказывали.

— Вам зачем туда?

Скромно говорю:

— Мне бы нужно арестоваться.

— Без разрешения нельзя.

— Как же мне быть? Исхлопочите разрешение. Долго куда-то телефонировали, наконец, выдали бумажку — и молодой солдатик пропустил.

Здание огромное, найти нужного человека трудно; раньше меня и здесь водили, больше по вечерам, темными коридорами. Наконец, добрался — столкнулся в большой комнате с десятком товарищей по несчастью, уже освобожденных и вызванных для писанья каких-то протоколов. Все люди почтенные, на возрасте, неуместные в такой обстановке, не похожей на деловой кабинет.

Допрашивали нас в нескольких комнатах несколько следователей. За исключением умного Решетова, все эти

следователи были малограмотны, самоуверенны и ни о ком из нас не имели никакого представления: какой-то там товарищ Бердяев, да товарищ Кизеветтер, да Новиков Михаил³... Вы чем занимались? — Был ректором университета. — Вы что же, писатель? А чего вы пишете? — А вы, говорите, философ? А чем же занимаетесь? — Самый допрос был образцом канцелярской простоты и логики.

Собственно допрашивать нас было не о чем — ни в чем мы не обвинялись. Я спросил Решетова: «Собственно, в чем мы обвиняемся? — Он ответил: «Оставьте, товарищ, это не важно! Не к чему задавать пустые вопросы». Другой следователь подвинул мне бумажку:

— Вот распишитесь тут, что вам объявлено о задержании.

— Нет! Этого я не подпишу. Мне сказал по телефону Решетов, что подушку можно не брать!

— Да вы только подпишите, а там увидите, я вам дам другой документ.

В другом документе просто сказано, что на основании моего допроса (которого еще не было) я присужден к высылке за границу на три года. И статья какая-то проставлена.

— Да какого допроса? Вы еще не допрашивали?

— Это, товарищ, потом, а то так мы не успеваем. Вам-то ведь все равно.

Затем третий «документ», в котором кратко сказано, что в случае согласия уехать на свой счет освобождается с обязательством покинуть пределы РСФСР в пятидневный срок; в противном случае содержится в Особом отделе до высылки этапным порядком.

— Вы как хотите уехать? Добровольно и на свой счет?

— Я вообще никак не хочу.

Он изумился:

— Ну как же это не хотеть за границу! А я вам советую добровольно, а то сидеть придется долго.

Спорить не приходилось: согласился «добровольно».

Писали что-то еще. Все-таки в одной бумажке оказалось изложение нашей вины: «нежелание примириться и работать с советской властью». Может быть, передаю не точно — но смысл таков.

Думаю, что по отношению к большинству это обвинение было неправильным и бессмысленным. Разве подчиниться не значит — примириться? Или разве кто-нибудь из этих людей науки и литературы думал тогда о заговоре против власти и о борьбе с ней? Думали о количестве седелок в академическом пайке! Непримирение внутреннее? Но тогда почему из ста миллионов выслали только пятьдесят человек? Нежелание работать? Работали все, кто как умел и что мог; но желать работать с властью — для меня лично было достаточно опыта Комитета помощи голодающим, призванного властью для срочной совместной работы; это случайно не кончилось расстрелом.

Одним словом, — ехать, так ехать, раз требуется немедленно сделать это добровольно. В общем с нами поступили относительно вежливо; могло быть хуже. Лев Троцкий в интервью с иностранным корреспондентом выразился так: «Мы этих людей выслали, потому что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно». Опять — без ручательства за точность фразы тогдашнего диктатора, позже высланного, хотя и были поводы его расстрелять.

Но легко сказать — ехать. А визы? А транспорт? А паспорт? А иностранная валюта?

Это тянулось больше месяца. Всесильное ГПУ оказалось бессильным помочь нашему «добровольному» выезду за пределы родины. Германия отказала в вынужденных визах — но обещала немедленно предоставить их по нашей личной просьбе. И вот нам, высылаемым, было предложено организовать в деловую группу, с председателем, канцелярией, делегатами. Собирались, заседали, обсуждали, действовали. С предупредительностью (иначе — как вышлешь?) был предоставлен автомобиль нашему представителю, по его заявлению, выдали бумаги и документы,

меняли в банке рубли на иностранную валюту, заготавливали красные паспорта для высылаемых и сопровождающих их родных. Среди нас были люди со старыми связями в деловом мире; только они могли добиться отдельного вагона в Петербург, причем ГПУ просило нас прихватить его наблюдателя, для которого не оказалось проездного билета; наблюдателя устроили в соседнем вагоне. В Петербурге сняли отель, кое-как успели заарендовать все классные места на уходящем в Штеттин⁴ немецком пароходе. Все это было очень сложно, и советская машина по тем временам не была приспособлена к таким предприятиям. Боясь, что всю эту сложность заменят простой нашей «ликвидацией», мы торопились и ждали дня отъезда; а пока приходилось как-то жить, добывать съестные припасы, продавать свое имущество, чтобы было с чем приехать в Германию. Многие хлопотали, чтобы их оставили в РСФСР, но добились этого только единицы.

Я обязал себя описывать все это в «мягких тонах» — ч исполняю. Но все же добавьте к этому, что люди разрушали свой быт, прощались со своими библиотеками, со всем, что долгие годы служило им для работы, без чего как-то и не мыслилось продолжение умственной деятельности, с кругом близких и единомышленников, с Россией. Для многих отъезд был настоящей трагедией, — никакая Европа их манить к себе не могла; вся их жизнь и работа были связаны с Россией связью единственной и нерушимой отдельно от цели существования. Все это в мягких тонах не выскажешь — и я пропускаю.

Но в менее «мягком тоне» я хочу вспомнить о последнем заседании правления Союза писателей за день-два до нашего отъезда. Значительная часть, высланных состояла в Союзе; четверо были членами правления. Конечно, наша высылка вызвала большое волнение и общее сочувствие; и, конечно, она вызвала также и малодушие — страх каждого за себя. Уезжавшие хлопотали по своим делам, и на очередное заседание из них явился только я,

так как должен был председательствовать. Были мелкие дела — мы их скоро решили. На повестку ближайшего заседания поставили вопрос о замещении выбывших членов правления, в частности двух товарищей председателю (Н. Бердяева и меня; председатель, Б. Зайцев, был раньше отпущен за границу). Закрывая заседание правления, я думал: сейчас кто-нибудь встанет и предложит поблагодарить меня и поручить мне передать последний привет от правления отъезжающим! Пять лет общей работы, почти в неизменявшемся составе, всегда дружной и всегда независимой! Демонстраций не нужно, Союз должно беречь, — но так, на одну секунду, маленькая растроганность все-таки ужас, но нужна и мне и, я думаю, всем! Страшного ничего нет — одна семья!

Затем мы встали, отодвинули стулья. Помню, что я стряхнул с рукава пепел папиросы. Потом кто-то протянул «н-да!». Затем один или двое вышли, а за ними медленно вышел и я, ничего не услышав вдогонку. В передней я поспешил первым надеть пальто. Впрочем, мы раньше прощались — у меня, у других, даже с застольными речами. Да и можно ли сомневаться в добрых чувствах старых друзей?

Я и не сомневаюсь. Я только вспоминаю об очень большой минуте жизни. Теперь я улыбаюсь, потому что в связь с этим несостоявшимся прощальным приветствием ставлю несостоявшуюся встречу нас эмигрантами, о которой расскажу дальше.

* * *

Вокзал, толпа провожающих — близких людей и беспретных знакомых. Чины ГПУ стараются быть незаметными. Высылка положительно почетная. Годом раньше, ссылая в Казанскую губернию, меня ночью, совсем больного, втискивали с конвоирами в насквозь промерзший вагон, забитый людскими тенями и вшами. Разница огромная! И правда — нашей судьбой интересуется Европа!

В Петербурге — гостиница «Интернационал», кажется, бывшая «Европейская», близ Казанского собора. На следующий день — пароходная пристань, тщательнейший обыск, — если возможно перешарить в огромном багаже семидесяти человек (считая членов семей); мы не вправе взять с собой ни единой записки и вообще ничего, не помеченного в утвержденном инвентаре. Здесь пришли проводить два петербургских писателя⁵, также намеченные к высылке, но потом сумевшие остаться в России — честь им и хвала за смелость. Море не спокойно, а у бедного Ю. И. Айхенвальда⁶, ныне покойного, морская болезнь началась еще на извозчичьей пролетке. До последней минуты ждем — не переменят ли власти решение, не увезут ли нас обратно? И, наконец, отплытие. До Кронштадта провожает агент — но мы его почти не видим. В нашем распоряжении весь первый класс и почти весь второй.

За шестнадцать лет перед этим, в 1906 году, я также отплывал в группе революционеров от берегов Финляндии. Отбытие парохода задержалось на шесть часов, и каждую минуту мы ждали, что нас задержат и высадят. Когда наконец за кормой зашумели волны, мы вышли на палубу и запели «Марсельезу». — Здесь мы отплыли в молчании, потому что петь было нечего: у нас не было своего гимна, и мы не были идейно сплоченной группой; просто — советские граждане, отправлявшиеся путешествовать с паспортами, в которых на трех языках было помечено: «высылается за пределы РСФСР». Взамен паспортов с нас взяли подписание: «В случае бегства с пути или возвращения подлежу высшей мере наказания». Нас высылали на три года (на больший срок «по закону» не полагалось); устно нам разъяснили: «т. е. навсегда».

Можно было немало рассказать о нашей поездке, особенно о разнице настроений. Одни уезжали не то чтобы с удовольствием, а с ощущением наконец наступившего, хоть и вынужденного отдыха; другие увозили в душе отчаянье, предугадывая тяжкое будущее. Среди нас были люди

старые, которые, при всем оптимизме, не могли рассчитывать на возвращенье; некоторые из них уже оказались правыми в своем опасении, как Ю. И. Айхенвальд, как недавно умерший в Праге редактор «Русских ведомостей» Вл. А. Розенберг.

С грошами в карманах мы ехали устраивать свою новую жизнь в Европе. Но еще больше нас беспокоило предстоявшее первое свиданье с русскими эмигрантами, которые, конечно, торжественно встретят нас в Штеттине или Берлине, среди которых есть много близких по прежним связям, но теперь далеких по переживаниям и, конечно, чуждых по взглядам.

Об эмигрантах мы знали только то, что сообщалось газетами: что все они интервентисты, озлобленные, мечтающие о возврате старого строя, ненавидящие новую Россию, не понимающие свершившегося. «Не примирившись с советскою властью», большинство из нас все же не только не были «контрреволюционерами», но и резко отрицали всякую «помощь Европы» и всякий возврат на ржавые рельсы. Я говорю «большинство», не производя подсчета, который сейчас уже совершенно невозможен; люди изменились! Но я напомним о том, как, подъезжая к Германии, мы обсуждали возможности встречи и готовили наш осторожный ответ эмигрантам. Было устроено несколько заседаний, был выработан план речи, которою, никого не обижая, мы отграничивали себя от чуждой нам эмигрантской психологии и излагали наше политическое кредо высланных, но все же граждан, членов живой, а не похороненной России, некоторым образом патриотов.

Я помню, кому было поручено произнести ответную речь — но не назову имени⁷; сейчас мне это кажется смешным и почти ужасным! Десять лет — достаточный срок, чтобы человек вывернулся наизнанку! Пусть рассказ мой до конца будет «мирным».

И вот — Штеттин. Уже подъезжая, — видим, что нас встречают. Оказалось, что встречают любезные и заботли-

вые немцы, представители не помню сейчас/какой организации. Значит, русские эмигранты готовят встречу в Берлине.

И вот Берлин. Произносить речи у вагона, в суете, менее удобно, но мы, конечно, готовы. Нас встречают и здесь — и опять немцы, заботливо приготовившие нам комнаты, предлагающие оказать всякую помощь, милые, распорядительные. Но только немцы, точно узнавшие, когда придет наш поезд, сколько нас, в чем мы будем иметь первую нужду.

Русских не было. Русская газета в Берлине не знала о нашем приезде⁸. Заготовленная речь, тонко задуманная и порученная отличному оратору, пропала даром! Мы уверяли себя, что очень рады, — но, может быть, скрыли от Себя некоторую обиду. Впрочем, хлопот было столько, что и радость и обида скоро позабылись. Так же было со мной после памятного заседания правления Союза писателей.

Ну, а потом началось то, что приходится называть «жизнью». Сначала оставались сплоченной группой «высланных граждан», затем рассеялись. Сначала «знали больше других», теперь знаем так же мало. Сначала были «люди особой психологии», затем в большинстве разместились по обязательным эмигрантским делениям. Что-то общее все же, кажется, осталось, но не в реальности, а в воспоминаниях. Некоторые сохранили свое «гражданство», другие перешли в подданство Нансена. Никто из нашей группы не вернулся и не был возвращен в Россию. «Три года» протянулись пока в десятилетье.

Вот и все, что припомнилось в «мирных тонах» в дни юбилея⁹.

Сергей Евгеньевич Трубецкой

МОСКВА. ВЫСЫЛКА ЗА ГРАНИЦУ

(фрагмент книги «Минувшее»)

Я ежедневно — по будним дням — стал ходить в город. Для формы и за подписями о своем присутствии на работе я, сперва ежедневно, а потом лишь иногда, заходил в Университет, большую же часть времени я проводил у своих на их новой квартире в Малом Ржевском переулке, около Поварской; из дома Соловых на Новинском бульваре их принудительно выселили, и им редкостно посчастливилось найти хотя бы и не очень хорошую квартиру.

Полтора года я не видел Москвы — срок сравнительно небольшой, но в такие революционные периоды можно, как во время осады городов, считать месяц за год, если не больше... Москва страшно переменилась во всем. Когда я садился в тюрьму, тип «бывшего человека», или «недорезанного буржуя», встречался куда чаще на улице, чем теперь. Прошлое, во всех видах, уходило в историю с невероятной быстротой. Так быстро сохнет песок после отлива моря: трудно даже поверить, что тут еще так недавно была вода... Как растаяла за эти 30 месяцев старая Россия! Те, кто жил в Москве день за днем, не могли заметить перемены столь резко, как я, вернувшийся из другого мира.

Кроме того, резко переменилась вся политическая обстановка. Я попал в тюрьму во время гражданской войны, со всеми ее надеждами... Теперь — большевики уже бесспорные победители. Для меня лично эта перемена была наиболее значительной, для большинства же других на первый план выступило другое противоположение, конечно, тоже немаловажное: период «военного коммунизма» сменился периодом НЭПа. Многие, очень многие возлага-

ли на него радужные надежды и считали, что я утратил всякую гибкость ума и ожесточился. В тюрьме, когда я говорил, что не для своего личного удобства, а для России, я предпочел бы продолжение «военного коммунизма», — он был тяжелее для населения, но при нем было больше надежд на освобождение... Многие же считали, что именно НЭП — заря освобождения. В этом отношении — с противоположных точек зрения — я сходилась с оценкой Ленина. Он боялся продолжения старого курса политики, а я на него надеялся; он надеялся, что НЭП даст коммунистам передышку, а я этого боялся... Меня совсем не удовлетворяла мысль, что «мы с Лениным» оказались правы (как я был бы рад, если бы мы с ним ошиблись!), но признать это приходится: Ленин поступил мудро для большевиков, учредив НЭП.

* * *

Я уже говорил, что кроме моих — фиктивных — университетских работ по приведению в порядок архива Л. М. Лопатина я еще немного занимался анкетами в семьях малолетних преступников. Случаев для таких анкет было вообще довольно мало, да и не все такие случаи попадали мне. Огромное большинство наших воспитанников были либо «беспризорные» — наследие военного беженства и революции, либо жили «по липе», то есть по фальшивому паспорту: если у них и были семьи, они это скрывали. Только у немногих числились семьи, и только если они жили в Москве, мы ходили туда для анкет. При этих анкетах я увидел другую сторону жизни наших «малолетних», картину тоже очень непривлекательную и тяжелую... Я уже говорил, что Сережа Мансуров звал меня «человеком до Достоевского», но зато какими массивными дозами «достоевщина» вливалась в мою жизнь в это время!

Помню один случай, только косвенно связанный с моим «анкетированием», но особенно ярко рисующий совершенно невероятные нравы того времени. Это была Россия под господством «бесов»!

Я шел делать анкету куда-то на окраину Москвы, где я до тех пор никогда не бывал. Я проходил через полузаброшенную товарную станцию: поездов ходило тогда очень мало. Вдруг я слышу женские крики. Какая-то баба в платочке плачет и просит ей помочь... Несколько человек, в том числе я, к ней подошли. Она приехала откуда-то в Москву в товарном вагоне (случай тогда обычный). У нее был ребенок и несколько кульков вещей. Она вышла из вагона с ребенком и одним кулем, перенесла через рельсы, положила куль, а на него ребенка, «около этой самой стены», и пошла за остальными кулями. Прошло несколько минут, но за эти минуты и куль и ребенок исчезли. «Хоть бы вещи одни, проклятые, взяли, — вопила баба, — хоть бы ребенка оставили!.. И на что им ребенок-то?!» — «Действительно, на что им ребенок-то?» — поддакивали слушатели...

Я пошел на станцию за милицейским (революция переименовала полицию в милицию) и привел его к бабе. Она все снова рассказала ему. — «Ну, а ребенок-то твой завернут был во что?» — спросил милицейский. — «В одеяло». — «А одеяло-то хорошее?» — «Хорошее». — «Ну, тогда понятно, — спокойно произнес страж порядка, — одеяло-то они и украли». — «А ребенка-то зачем унесли?» — «А как же, они спешили, развертывать времени не было... потом выбросят: на что он им нужен?.. Это уже не впервой здесь так: одеяло украдут, а ребенка выбросят...» — «Надо искать его!» — закричала мать. — «Ищи... а где его сыщешь? Они его, небось, не на виду бросят, это им опасно... Вот одного потом на свалке нашли...» — «Живой был?» — спросила мать. — «Куда там, — спокойно ответил милицейский, — живым ли, мертвым ли бросили, — не знаю, а когда нашли, собаки уж половину его обглодали... Нет уж, пропал ребенок твой, нечего и говорить. Ну, не плачь, мы его все-таки поищем», — добавил он.

Быстрое разложение всего прошлого коснулось тоже, конечно, и быта нашей семьи. Я был арестован и увезен в ВЧК из нашего прежнего солововского дома, где мы были

очень «уплотнены», но где хотя бы видели поломанные и потрепанные рамки прошлого. Теперь я застал Мама и Сою в дрянной маленькой квартирке «необитаемого» для нас раньше типа. На этой новой квартире они были опять «уплотнены» советским служащим и его сожительницей — легких нравов, да еще и воровкой, она их сильно обворовала. К довершению беды, в другом месте пропали ценные бриллианты Мама. О каком-либо заработке Сони нельзя было и думать, вследствие ее здоровья. Она и раньше серьезно не зарабатывала, а тут врачи еще нашли у нее начало туберкулеза... Я сидел в тюрьме и был только экономическим грузом для семьи («передачи»)... Но тут тот самый НЭП, который я считал вредным для судеб России, лично мне помог и при этом неожиданным для меня образом.

В один прекрасный день, когда я вернулся в тюрьму «из Университета», а на самом деле — из дому, меня вызвали в канцелярию и сообщили, что завтра утром меня «под стражей» должны вести в Народный Комиссариат Земледелия по вызову пом. народного комиссара Ш. (помню только начальную букву его немецкой фамилии)¹⁰. Очевидно, он узнал обо мне через Леонтьева, откомандированного уже раньше из тюрьмы для работы в «Наркомземе».

Итак, на следующий день я со стражником отправился в Комиссариат Земледелия и там предъявил мой вызов. Через несколько минут меня вызвали к заместителю наркома земледелия Ш. (Как я узнал позже, Ш. был очень оригинальный большевик, до некоторой степени вроде наркома иностранных дел Чичерина. Он был сыном генерала и воспитывался в Пажеском Корпусе, откуда был исключен за революционные идеи. Давно отрекшись от семьи, он сделался политическим эмигрантом и большевиком. Теперь он занимал видное положение. Во всяком случае, ему надо отдать справедливость — он был человек идейный, а не большевик-карьерист, каких много развелось со времени прихода коммунистов к власти. Такие люди, конечно,

симпатичнее беспринципных оппортунистов, но для России они были, пожалуй, опаснее.)

Ш. любезно поздоровался со мной (это был не Крыленко) и, усадив в кресло, спросил: «Вы, Сергей Евгеньевич, были уже на советской службе?» — «Нет, не был». — «Почему? По принципиальным соображениям?» — «Да». — «Но, вот видите, дело теперь несколько иное. Во-первых, гражданская война кончилась, а во-вторых, дело идет о вашей службе не в правительственном учреждении, а во вновь образуемом автономном Государственном Сельско-Хозяйственном Синдикате («Госсельсиндикат»), куда должны войти все губернские тресты совхозов. Будучи управляющим делами этого Синдиката, вы не будете считаться советским служащим (это, конечно, была фикция!). Именно эту должность я вам предлагаю занять. В правление Синдиката войдут, между прочим, некоторые ваши знакомые — Леонтьев, только что давший мне свое согласие, и Чупров... других вы не знаете» (коммунисты). (На аналогичную должность в другом учреждении был только что назначен из нашей тюрьмы Д.М.Щепкин.)

«Вы агроном?» — спросил меня Ш. — «Нет, я историко-филолог». — «Гм... но вы помещик и имеете понятие о сельском хозяйстве?» — «Да, я помещик и в хозяйстве кое-что понимаю», — ответил я.

В результате этого разговора и переговоров с друзьями, я дал согласие занять предлагаемую должность, но все трое мы попросили, чтобы Комиссариат возбудил бы перед ВЦИКом ходатайство о предоставлении нам права «для пользы службы» жить не в тюрьме, а в городе. Сравнительно скоро ходатайство это было удовлетворено, и мы попали в довольно оригинальное положение (не привыкать стать). По документам мы значились заключенными в Таганской тюрьме, но имели право жить в городе, «не занимая особой комнаты» (!). Мы были обязаны каждую неделю, в определенный день, регистрироваться в тюрьме и, кроме того, мы трое были связаны между собой круговой

порукой, на тот случай, если бы кто-нибудь из нас скрылся. Условие «не занимать особой комнаты» (квартирный кризис) было для нас не так страшно: Леонтьев и Щепкин поселились в комнатах их жен, а Мама и Соня имели две комнаты — общую их спальню и столовую, в которой я и поселился.

Служащие в Госсельсиндикате оплачивались, по тем временам, исключительно хорошо, и, считая в золоте или в твердой валюте, я далеко не получал потом в эмиграции такого высокого вознаграждения, как тогда. Это было для нас более чем кстати.

Госсельсиндикат — было одно из тех новых учреждений, которые возникли в то время по принципам НЭПа. В эпоху «военного коммунизма» жили безо всякого хозяйственного расчета, и декреты стремились вогнать всю хозяйственную жизнь страны в прокрустово ложе «социализма». Обжегшись на этом, теперь повсюду заговорили о «хозрасчете» и, взявши наружную форму успешных крупных капиталистических хозяйств и трестов, решили декретами же вгонять государственное хозяйство в новые формы, но, по существу, наполненные тем же коммунистическим содержанием. Напрашивалось сравнение с басней «Квартет» и вспоминалось ее заключение: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь!»

Подчас забавно было видеть, как некоторые коммунисты, еще вчера считавшие, что слова «хозяйственный расчет» — «попахивают капитализмом», теперь с головой ушли в него, но чрезмерным планированием убивали живую ткань хозяйственной жизни.

Председателем нашего Правления был еще молодой идейный коммунист, Демченко. Как я слышал, он был недочувствующий студент-медик. Это был человек безусловно честный и даже симпатичный. По отношению ко мне он вел себя более чем безупречно и, как я скажу далее, я ему многим обязан. Кроме него, в Правление входили «буржуи»: мой приятель Леонтьев и Чупров (последний — человек

умный и с большим хозяйственным опытом), а также два коммуниста — один из многочисленных братьев Кагановичей, брат «великого» Кагановича, занимавшего и занимающего очень крупное положение в СССР, и Уралов, человек определенно чекистского характера. Многих в многочисленный персонал Синдиката, мы с Леонтьевым набрали по нашему выбору, из известных нам людей. Другие были назначены к нам из Комиссариата Земледелия. Понятно, как и всюду, среди них были «сексоты» (секретные сотрудники ЧК). С этой точки зрения приходилось гораздо больше опасаться не «партийцев» (коммунистов), а «беспартийных» и даже «белых». Но мы с Леонтьевым никакой «политикой» здесь не занимались — глупо было бы в нашем положении «конспирировать»! — и агентов ЧК мы не боялись. Я опасался за некоторых наших служащих, ведших иногда слишком неосторожные разговоры. В частности, один почтенный мировой судья никак не мог привыкнуть к мысли о возможности существования у нас «сексотов» и даже провокаторов; сколько раз я призывал его к осторожности... Мне, отбывающему наказание контрреволюционеру, было бы смешно, если бы я даже этого хотел, драпироваться и тогу «сменовеховца», но публичных политических разговоров я избегал.

Однажды Демченко поставил меня в затруднительное положение: войдя в мой кабинет с каким-то другим коммунистом, он с улыбкой дал мне русскую «белую» газету, издаваемую, помнится, в Болгарии. Там я прочел хамски-разухабистую статью — «Собаке — собачья смерть», написанную по случаю смерти... Ленина! Надо сказать, что в то время Ленин еще преблагополучно жил и принимал самое деятельное участие в государственных делах. Меня очень неприятно поразила неосведомленность белых, а кроме того хамский тон статьи, говорящей о Ленине как о дураке и ничтожестве. Именно потому-то он и был так опасен, что он не был ни тем, ни другим! Демченко меня спрашивает: «Ну, как вам нравится ваша газета?» Как ему ответить? Единомыш-

леннику я просто выругал бы газету, но сделать это перед коммунистами мне не хотелось, чтобы они не подумали, что я «подлаживаюсь»... — «Мне противно видеть в белых газетах тон ваших». Демченко засмеялся: «Вы неисправимы, Сергей Евгеньевич!» Но быть может, за эту самую неисправимость он меня уважал и доказал это потом на деле.

Среди случаев, бывших со мною во время службы в Госсельсиндикате, мне припоминается сейчас следующий. Курьер докладывает, что меня желает видеть председатель калужского Треста Совхозов (коммунист). Войдя в мой кабинет и осторожно оглянувшись, председатель попросил меня устроить, чтобы его Тресту было увеличено ассигнование. В виде аргумента он добавил: «Ваше имя в нашем Тресте и если вы увеличите наше ассигнование, мы сделаем в него крупное капиталовложение...» Что это было; предложение мне весьма проблематичной взятки, или — провокация? Я ответил, что ассигновки уже утверждены и вообще меня не касаются...

* * *

Как я уже говорил, тогда я никакой политической деятельностью не занимался, считая, что в моем положении это было бы просто глупо и безо всякой пользы подводило бы не только меня самого, но и других. Однако, справедливо считая их совершенно не политическими, я иногда бывал на собраниях по религиозным вопросам, которые устраивал на своей квартире католик (восточного обряда) о. Владимир Абрикосов. Там собирались католики и православные. С католической стороны, кроме хозяина, бывали папский протонотарий о. Федоров, Д.В. Кузьмин-Караваев (тогда еще мирянин) и др. Со стороны православных бывали: московский викарий епископ Илларион, прот. Арсеньев и другие священники, а также миряне, как то Арбузов (бывший директор департа. общих дел мин. внутренних дел), кн. С.Д. Урусов (бывший товарищ министра внутр. дел) и др. С докладами на этих собраниях я никогда не вы-

ступал, но иногда участвовал в прениях. Целью собрания было взаимное ознакомление православных и католиков и рассмотрение вопроса об условиях, при которых мыслится бы возможность соединения Церквей (вопрос этот, разумеется, нами практически не ставился и от нас совершенно не зависел). Мне тогда не приходило в голову, что участие в этих собраниях ГПУ может поставить мне в вину.

Однако в одну прекрасную ночь, летом 1922 года (помнится, в июле) в мою комнату вошел комиссар ГПУ. Он произвел обыск, понятно безрезультатный, и арестовал меня. Опять меня повезли на автомобиле в ту же знакомую «Внутреннюю тюрьму» на Лубянке; переменялось только название: было ВЧК, теперь стало — ГПУ.

Я сначала совершенно не догадывался, за что именно меня арестовали, да и потом, когда следователь говорил мне о религиозных собраниях, это было как-то «сбоку-припеку» и не очень серьезно. Может быть, это послужило поводом к моему аресту, но вряд ли основной его причиной.

Меня посадили на этот раз в общую камеру, где я снова встретился с Митрополитом Кириллом Казанским, с которым простился в Таганской тюрьме. Кроме того, из знакомых там был философ С. Л. Франк и несколько незнакомых: кооператор, офицер-артиллерист, студент и др. — смесь, которая может показаться необычной только человеку, не знакомому с практикой ВЧК — ГПУ. С Франком мы были арестованы в одну и ту же ночь, и он тоже не догадывался о причинах ареста. На собраниях у о. Абрикосова он не бывал. По-видимому, в эту ночь было много арестов — «большая операция», как говорят чекисты, — и Франк и я, подъезжая в разное время ночи к тюрьме, видели несколько подъезжающих туда же автомобилей, очевидно с арестованными.

Кажется, через день я был вызван на первый допрос и, идя туда, встретил возвращающегося с допроса Н. А. Бердяева. Какое-то поветрие на философов! — подумал я.

Попал я к довольно тупому следователю, который не умел толком ставить вопросы и еще хуже понимал ответы. Так, на обычный вопрос: «Как вы относитесь к советской власти?» — я ответил: «С интересом наблюдаю за ее развитием». — «Значит, записать, что вы ей сочувствуете?» — с недоумением спросил следователь. — «Нет, я прошу вас точно записать мой ответ; хотите, я вам его продиктую?» — «Что-то непонятное...» — бормотал следователь. Потом он предъявил мне обвинение в том, что я бывал на собраниях у о. Абрикосова. Я не отрицал этого, сказав, что не вижу здесь никакого преступления против советской власти, но отказался назвать других участников собраний.

«Вы привлекаетесь по статье такой-то за контрреволюционную деятельность, — заявил мне следователь, — наказание высшее (расстрел)». — «Привлекать меня вы можете по любой статье, но от этого я не более виноват», — сказал я... Водворилось довольно продолжительное молчание... Вдруг следователь, можно сказать, совсем огорошил меня. «А не желаете ли вы вместо этого уехать за границу?» — спросил он. Надо знать общую обстановку в те времена, чтобы понять всю чудовищную неожиданность такого предложения. Получить разрешение на выезд за границу было почти невозможно даже для самого безобидного советского гражданина; я же был присужден к «строжайшей изоляции», числился заключенным Таганской тюрьмы и, вдобавок, был одним из заложников за «белые убийства»...

Я был поражен. А следователь продолжал: «Право, поезжайте!.. Подумайте, как вы здесь живете: все по тюрьмам, а сейчас мы вас опять по статье с высшим наказанием привлекаем... А там — брата встретите, Петра Бернгардовича (он говорил о Струве), других... Вам рады будут и ценить вас будут на вес золота, А тут вы пропадете... Вот прошение о визе в Германское консульство — подпишите...»

Если я раньше совсем не понимал, куда гнет следователь, и все искал и не находил подвоха, то тут меня внезап-

но осенила мысль (совершенно неправильная), что ГПУ почему-то надо найти доказательство, что я собираюсь убежать за границу. Конечно, при желании бежать подавать в консульство прошение о визе было бы весьма мало целесообразно, но все же «нахождение при обыске» в моих бумагах такого заготовленного прошения могло, думал я, входить в планы ГПУ. Вместо того чтобы подделывать мою подпись, ГПУ хочет побудить меня самого подписать этот опасный для меня документ... «Я не хочу подписывать это заявление», — сказал я. — «Почему же?» — «Я вообще не хочу уезжать из России, а кроме того, я не могу бросить здесь на произвол судьбы мою семью». — «Ну, об этом не заботьтесь, — сказал следователь, — при желании ваша семья может следовать за вами...»

«Скоро он пообещает мне выплатить миллион долларов за границу, если только я соглашусь подписать это прошение, — подумал я. — Чего стоят все эти слова и обещания?»

«Нет, я во всяком случае не хочу уезжать из России», — сказал я. — «Что мне с вами делать? — развел руками следователь, — другие радуются, мечтают уехать; а вы предпочитаете в тюрьме сидеть и по расстрельной статье привлекаться! Не поймешь вас!»

Так мы друг друга и не поняли, и я был снова водворен в камеру. Когда я тотчас же подробно рассказал о своем допросе Митрополиту и С.Л. Франку, оба были удивлены не менее моего и не понимали, «что сей сон означает»...

Через некоторое время был вызван на допрос Франк и ему тоже было предложено выехать с семьей за границу. Однако его не привлекали по «расстрельной статье», а просто сказали, что его «направление» признается в СССР нежелательным и ему предлагается ехать за границу. Франк, после моих рассказов, был более меня подготовлен выслушать такое предложение и ответил, что «подумает». Он склонялся к тому, чтобы подписать прошение о визе: его положение, говорил он, было совсем другое, чем

мое, и такой документ был ему куда менее опасен, чем мог бы быть мне. На мой вопрос, как бы он поступил на моем месте, Франк ответить затруднился. «В общем, они так или иначе могут сделать со мной все, что им угодно, — говорил он, — почему мне не попробовать? А вдруг они правда хотят выслать меня за границу?» С. Л. Франк был прав. Через несколько дней его снова вызвали на допрос, он подписал требуемые бумаги и вышел на свободу. Как я узнал впоследствии, все высылаемые проходили приблизительно через те же стадии сомнений, но, в конце концов, все подписали прошение о визах. Из всей этой группы остался в тюрьме я один.

Прошло недели две и меня снова вызвали па допрос. На этот раз, кроме моего следователя, на допросе присутствовал заведующий одним из главных отделов ГПУ, видный чекист Артузов. Мне снова предложили назвать лиц, бывавших на собраниях у о. Владимира Абрикосова. «Ведь вы сам говорите, что преступления здесь никакого не было, почему же вы отказываетесь их назвать? Кроме того, они нам все известны. Мы хотим только, чтобы вы сделали благожелательный жест по отношению к нам».

«Я продолжаю считать, что преступления здесь никакого не было, — отвечал я, — но вы меня все-таки в нем обвиняете, поэтому я не хочу никому вредить и никого не назову». — «А если мы вам дадим гарантию, хотя бы за подписью самого Ленина, что никто из названных вами не пострадает, тогда вы их назовете нам?» — спросил Артузов. — «Я думаю, что мы доверяем друг другу приблизительно одинаково...» — отвечал я с улыбкой, Артузов засмеялся, и больше вопрос о религиозных собраниях уже не поднимался.

Перешли опять к моему прошению о визе для выезда в Германию. Мне вновь предложили его подписать. Я сказал, что, обдумав вопрос, я согласен подписать прошение в Германское консульство, но в несколько иной форме, чем мне предложенной. Следователь и Артузов переглянулись: «Как

же вы хотите писать?» Я написал вводную фразу к трафаретному прошению о выдаче визы: такого-то числа следователь ГПУ мне предложил покинуть пределы СССР, ввиду этого я имею честь просить... и т. д. Если мои опасения правильны, думал я, такая форма прошения меня выгораживает.

Чекисты внимательно прочли русский текст моего прошения, отошли в сторону, переговорили между собой и потом Артузов сказал мне: «Ну ладно, будь по-вашему; все не хотите делать, как люди!..»

Позднее я узнал, что из-за моей формулы прошения мне чуть не было отказано в визе. «Германия — не место ссылки» — говорил немецкий консул. Но через друзей, имевших связи в консульстве, слава Богу, удалось все уладить. А с другой стороны, как я тоже узнал только впоследствии, мое нежелание подписать прошение о визе чуть не привело к замене ГПУ моей высылки за границу ссылкой на Соловки... К счастью, мое «хитроумие» и упорство не имели для меня таких тяжелых последствий.

Я тогда же заявил следователю, что со мною наверное поедут за границу моя мать и сестра, но также, «очень возможно», поедет и «живущая на моем иждивении» (это было неверно!) двоюродная сестра с ее ребенком, но я должен прежде узнать ее окончательное решение...

Дело в том, что я решил использовать свою высылку, чтобы помочь выехать за границу к мужу моей двоюродной сестре Соне Щербаковой (рожд. Новосильцевой) с ее маленьким сыном. Вся история с Соней была тоже довольно типична для того времени. Во время Мировой войны Соня Новосильцева была сестрой милосердия на фронте и там познакомилась с молодым студентом-юристом А. Щербаковым. Позднее Щербаков пошел вольноопределяющимся в артиллерию и скоро был произведен в офицеры. Он доблестно проделал Корниловский поход и вообще «Белое Движение». Соня вышла за него замуж и у них родился сын. Между тем, после крымской эвакуации армии Врангеля Щербаков со своей частью попал за границу,

Соня же с ребенком застряла на Кавказе. Легально уехать за границу к мужу она, конечно, не могла. Чего только она ни пыталась делать, чтобы уехать! Так, например, она фиктивно — «по-советски» — вышла замуж за старого лавочника-армянина, турецкого подданного, уезжавшего с Кавказа к себе на родину. Но и это не удалось; армянина через границу турецкую пропустили, а ее — нет.

Зная желание Сони уехать к мужу каким угодно способом, я и заявил ГПУ, что она состоит «на моем иждивении» (непременное условие) и, вероятно, пожелает уехать со мной за границу. Соня просто уцепилась за мой план и ей, слава Богу, таким образом удалось соединиться с мужем. В Германии Соня бросила ненужную ей более армянскую фамилию, которая ей так и не помогла, и восстановила свою настоящую. Все это может казаться теперь взятым из плохого романа-фельетона, но на самом деле это было так, и случай Сони Щербаковой казался тогда не столь уж исключительным.

* * *

Когда после последнего моего допроса, на котором, я подписал прошение о визе, я вернулся в свою камеру, Митрополит Кирилл не поверил, что меня действительно высылают за границу. Он, конечно, не сказал этого мне, но я видел, что он считает куда более вероятным, что меня расстреляют. Для проверки того, что меня действительно освободили, он просил меня сходить в монастырь, откуда ему приносили «передачи» (еду и белье). Я должен был там попросить в препроводительной записке к следующей передаче пометить «хлеб» не как обычно, на первом месте, а на последнем. Таким образом Митрополит в тюрьме мог узнать, что я жив и на свободе. Я так и сделал. Еще раз встретиться с ним мне не было суждено: он скончался в ссылке, когда я был уже во Франции. С достойной простотой и твердостью нес он свой крест до конца, подавая пример многим и являясь немим укором тоже для многих... Мне

навсегда останется памятным его последнее благословение, когда меня выводили из камеры.

* * *

Перед тем, как выпустить меня из тюрьмы ГПУ, мне дали подписать бумагу, где мне объявлялось, что я высылаюсь из пределов СССР — без обозначения срока высылки — и что, если я вернусь в Советский Союз, я подлежу расстрелу, который будет приведен в исполнение первым же органом власти, в руки которого я попаду... Кроме того, мне было приказано, до самого выезда моего за границу (задержка с визами) ежедневно являться в ГПУ вместе с другими высылаемыми для получения указаний относительно нашего отъезда.

Уже «на воле» я познакомился со статьей Троцкого (тогда находившегося еще на вершине власти) «Превентивное милосердие», бросавшей свет на происходящее с нами. Советская власть, писал Троцкий, победила всех своих внутренних врагов и жалкие остатки их ей не страшны. Однако мы можем быть уверены, что эти уцелевшие внутренние враги непременно примкнут к внешним врагам Республики, если дело дойдет — что не исключено в будущем — до столкновения с ними. Конечно, наши внутренние враги и тогда не будут нам опасны, но мы все же принуждены будем их тогда уничтожить. И вот превентивное милосердие (отсюда и само заглавие статьи) побуждает нас заранее выбросить из пределов страны эти остатки наших внутренних врагов. Так говорил Троцкий... Эта статья объясняла кое-что, хотя далеко не все, в нашем положении. Во всяком случае, можно отметить, что опыт «превентивного милосердия» был в СССР очень скоро прекращен. «Недобитых врагов народа» было выслано из Советского Союза всего несколько больше сотни и на этом дальнейшие высылки прекратились. Да и в числе высылаемых были лица, неизвестно за что изгоняемые. Зная методы ГПУ, невольно напрашивалась мысль, не пытается ли оно, пользуясь случаем высылки, ввести в сре-

ду нашей эмиграции еще новых своих агентов, примешанных к составу высылаемых и получающих тем самым ярлык патентованных «контрреволюционеров»?

* * *

Мы деятельно готовились к отъезду. Для этого прежде всего требовались деньги, так как мы должны были ехать на свой счет, и деньги по тогдашним понятиям не малые. За пароходный билет от Петербурга до Штеттина надо было платить, помнится, не то восемь, не то одиннадцать английских фунтов (тогда еще не девальвированных). Нам надо было спешить и, хотя бы за гроши, продавать, что было возможно, из того немногого, что у нас еще оставалось. Кроме стоимости проезда, надо было иметь хоть немного денег хотя бы на первое время за границей, до того как мы там устроимся. Вывозить с собой ценностей мы имели право не больше как по двадцать пять золотых рублей на человека, то есть чрезвычайно мало. Мы, понятно, ухитрились пользоваться и нелегальными способами для перевода наших небольших денег за границу, и друзья наши нам много помогли в этом отношении. В смысле денег мне совершенно неожиданно очень помог Госсельсиндикат, в лице председателя его правления Демченко, о котором я сохранил благодарную память.

Оказалось, что как только меня арестовали для высылки, Госсельсиндикат получил грозную бумагу от ГПУ. Последнее высказывало удивление, что такого «контрреволюционера», как я, держали там на такой должности, как управляющий делами (будто ГПУ не знало об этом с самого начала!). ГПУ предписывало считать меня уволенным со дня моего ареста. Однако когда я явился в Госсельсиндикат, Демченко предложил мне начать хлопоты, чтобы меня оставили в Советской России на его поруки. Я поблагодарил его и отказался, сказав, что я не собирался эмигрировать, но раз меня высылают, я не хочу просить, чтобы меня оставили на родине. «Я и ждал такого ответа», — сказал Дем-

ченко. И прибавил, что все распоряжения о моем расчете им уже сделаны. В финансовом отделе, куда я направился для получения расчета, меня ждала приятная неожиданность; мне не только было приказано выдать содержание за все время моего заключения, но еще за два месяца вперед, как полагалось только увольняемым «за сокращением штатов». На мой удивленный вопрос заведующий финансовым отделом тут же сказал мне, что таково распоряжение Демченко. Он тут же сказал мне, что это распоряжение сделано в прямое нарушение требования ГПУ, о котором Демченко не сказал мне ни слова. Хотя я уже простился с Демченко, тут я, не взяв денег, снова пошел к нему и обратил его внимание на опасность, которой он лично подвергается от ГПУ, производя со мной такой щедрый расчет наперекор чекистам. Конечно, формально ГПУ не имело права вмешиваться во внутреннее дело расчета со мною Госсельсиндиката, но все знали, что власть ГПУ, в сущности, не имеет границ. Демченко рассердился на заведующего финансовым отделом за то, что он рассказал мне про бумагу ГПУ, и, поблагодарив за мое отношение к нему в этом деле, настойчиво просил не отказываться от «заштатных денег». Я их взял, и эти деньги нам очень помогли. Я сохраняю благодарную память к Демченко за его исключительную заботливость и благородное поведение по отношению ко мне. Во всяком случае, он мне доказал, что и среди коммунистов могут быть высокопорядочные люди.

Почти весь персонал Госсельсиндиката — «буржуи» и коммунисты — очень тепло простились со мною и пожелали мне много хорошего в дальнейшей жизни. Только очень немногие — при этом именно из «буржуев»! — постарались избегнуть прощания со мною как с «высылаемым», и, кажется, только один коммунист и чекист Уралов прошел мимо группы прощающихся со мною служащих, демонстративно подчеркивая, что он прощаться со мною не желает. В сущности, я должен быть ему благодарен: я избег рукопожатия чекиста.

(Маленькая забавная подробность: когда я был арестован ГПУ и посажен во Внутреннюю тюрьму, я, понятно, не мог явиться на недельную проверку в Таганскую тюрьму. Поэтому там хотели вновь арестовать и заключить в тюрьму Щепкина и Леонтьева, связанных со мной круговой поручкой. Только после долгих сношений с ГПУ причину моей неявки сочли уважительной и моих друзей оставили в покое.)

Не только наши родные и друзья, но даже почти незнакомые люди старались всячески помочь нам в это время. Все мы видели к себе исключительно трогательное отношение. Кстати скажу, что английская миссия (посольства тогда еще не было) любезно предложила мне предоставить автомобиль для поездки на вокзал: вопрос транспортных средств стоял тогда очень остро. Я горячо поблагодарил, но просил не посылать автомобиля. Шутя я сказал, что, приехав на вокзал на английском автомобиле, я боюсь продолжить свое путешествие не в поезде — в Петербург, а на чекистском автомобиле — во Внутреннюю тюрьму...

Нам все-таки суждено было уехать на вокзал на автомобиле: Ника Авинов устроил для нас кооперативный грузовичок.

Последние дни перед отъездом были очень тяжелы и волнительны: в душе беспорядочно клокотали противоречивые чувства. Мне скорее хотелось уехать из Советской России, чем оставаться в ней, но то, что Тютчев остроумно называет *Rausweh* (тяга вырваться) в противоположность *Heimweh* (тяга, тоска по родине), все же не уничтожало последнее, и я смутно чувствовал, что расставание с Родиной будет очень надолго, если не навсегда...

Мне хотелось увидеть за границей брата Сашу, дядю Гришу Трубецкого и многих других, но и разлука с остающимися близкими была мне тяжела... Чувства были сложны и боролись друг с другом, по все же я ясно сознавал, что если бы мне вдруг сказали, что наша высылка отменяется и мы остаемся в Москве, это было бы для меня большим ударом. Но ликования от отъезда, которого ожидали и даже

как бы требовали от меня многие (особенно дядя Миша Осоргин), у меня совершенно не было... Не часто приходилось мне в жизни так ясно чувствовать, что переворачивается большая страница в нашей «Книге живота»...

* * *

Для высылаемых нашей группы и сопровождающих их семей был отведен целый вагон 3-го класса, однако в нем уже сидело несколько пассажиров, занявших места до нашего прихода; в пути ни одного пассажира в наш вагон не пускали, хотя некоторые и пытались в него залезть, а в вагоне были свободные места. По всей вероятности, «пассажиры», допущенные в вагон, были на службе ГПУ. В частности, недалеко от нас сидела женщина с грудным ребенком на руках. Ребенок был так укутан, что ни лица его, ни рук нельзя было видеть, но к тому же, в течение всего пути он не издал ни звука и мать его ни разу не кормила... На одной из станций, где наш поезд долго стоял, двоим из нас разрешили пойти за кипятком (вообще до Петербурга мы из вагона не должны были выходить). Ходившие за кипятком видели, как за столом в станционном буфете сидела ехавшая вместе с нами женщина в компании чекистов в форме, а ее «ребенок» стоял прислоненным к стулу. Надо отдать справедливость ГПУ, его методы обычно бывают гораздо тоньше. По что, собственно, хотели подслушать от нас чекисты? — это мне осталось непонятным.

В Петербурге нас встретило неприятное известие: немецкий пароход, на котором мы должны были плыть в Штеттин, почему-то отправлялся не на следующее утро, как это следовало, а только через два дня, и мы не могли тотчас на него грузиться, как мы рассчитывали сделать. Где же нам приткнуться на это время, как пропитаться? В те времена это были большие и жгучие вопросы. Но и тут нас выручило исключительно сердечное отношение со стороны совершенно незнакомых людей. Кто из высылаемых не имел в Петербурге родных или знакомых, могших их приютить,

был тут же приглашен к себе чужими людьми. А надо понимать, что тогда означало приглашение к себе, да еще таких нежелательных людей, как «высылаемые». Помимо больших трудностей материальных, тут был еще риск попасть на замечание ГПУ. И однако нас всех немедленно пригласили. В частности, наша семья была приглашена заведующим, или помощником заведующего Публичной библиотекой. Это была интеллигентная семья, разумеется совершенно не большевизантствующая, но некоторые члены которой пострадали во время гражданской войны — как евреи — от Белой армии, нашей Армии... Чувства благодарности к нашим хозяевам, которые и стеснялись себя и даже рисковали собой ради нас, смешались с чувством неловкости и даже некоторого стыда, хотя мы сами ни в чем не были виноваты перед ними... Мы и так хотели поскорее уехать, а тут каждый час нам был вдвойне тяжел...

Как в Москве перед отъездом я постарался обойти город и проститься с ним, так и тут я прощался с Петербургом, с его видами, памятниками, Эрмитажем...

Какая разница с Москвой! И тут и там на все легла печать большевизма, но легла она не одинаково. Старая московская жизнь была убита, но Москва все же интенсивно жила какой-то новой, чуждой и злобной жизнью, но все же это был живо и город. Петербург же производил впечатление какого-то полумертвого царства. Старая жизнь была здесь убита, а новая еще не полностью завладела им. Петербург был как бы огромной, стильной барской усадьбой, из которой ушли старые хозяева и которую еще не освоили новые и чуждые ее духу пришельцы. По сравнению с Москвой, Петербург казался полупустым. Народа было мало, на улицах между камнями пробивалась трава, и запущенность придавала дворцам и памятникам какую-то особую, щемящую красоту...

Я стоял перед памятником Петра Великого. Неужели дух его не изгонит отсюда это мерзкое отродье? — думал я... Но может ли его дух бороться с большевизмом? Конечно

но, Петр — не большевик *à la lettre*, каким выставляют его некоторые, но все же духовная зараза, которая бушует сейчас по России, была и в его душе... Отход от Церкви, глумление над ней («Всепьянейший Собор!»), отрешенность ото всех традиций и даже ярая вражда к ним, дикая грубость, «брутальность», всех приемов, порой даже садизм (пытки сына, казни стрельцов)... Нет, думал я, не дух Петра призван бороться и победить дух большевизма: Медный Всадник, который с тяжелым топотом скакал за безумным Евгением, не имеет духовной силы, чтобы вздыбить своего коня на раскосого Ленина, осквернившего и разрушившего его творение. Я стоял перед памятником, а по пустынной площади шли, в одиночку или маленькими группами, какие-то безличные, серые люди-термиты. Я вдруг почувствовал острый прилив *Rausweh*. Раз я ничего не могу здесь сделать, остается бежать отсюда, бежать, бежать скорее и не видеть...

Последний день, последние часы в России тянулись для меня, казалось, бесконечно... Я опасался того только, что вдруг что-то помешает нам уехать. До самой последней минуты наш отъезд продолжал мне казаться сверхъестественным и невероятным.

Но вот, наконец, наступил час погрузки на пароход. «*Oberbürgermeister Hagen*» стоял на Невской пристани. Таможенный досмотр (количество вещей было строго ограничено и мы должны были заранее дать на утверждение их список), потом — погрузка. Мы сели на пароход днем, но он должен был идти только на следующий день рано утром. Вместе с нами на пароход взошли и несколько чекистов. Я говорю про чекистов в форме, секретные агенты, конечно, тоже были... Наши паспорта нам па руки выданы не были, они остались у чекистов.

Неужели мы все же уедем и ничто нас не задержит? Неужели это но сон? — думалось мне...

Я проснулся утром и посмотрел на часы. Было уже па несколько часов позднее назначенного для отплытия вре-

мени, а наш пароход все стоял на том же месте... — Что случилось? — Оказывается, капитан все еще, не может добиться от властей разрешения па отплытие. — Почему? — Неизвестно. — Опять волнительное ожидание... Наконец мы трогаемся, но паспортов нам не передали и наши чекисты с парохода не сошли... Как? Почему? Ведь мы же не останемся теперь нигде до Штеттина...

Вот вырисовывается Кронштадт и Толбухин Маяк. От нашего парохода на ходу отваливает лодка, в ней наши чекисты... Пароход ускоряет ход. «*letzt können Sie ruhig Ihr Kaffee trinken, —* говорит нам наш капитан. — *Ihre Pässe sind bei mir*»¹¹, — и он ударяет себя по нагрудному карману.

Тяжелый камень сваливается с моего сердца — слава Богу! — мы едем... В то же время нет и легкого чувства радости, щемящая тоска охватывает меня. Я впиваюсь глазами в последний краешек родной земли. Бездна серое небо, серое море, серый профиль маяка. Даже чайки почему-то кажутся серыми. Грусть, тоска, безнадежность!.. Но это — Россия, страна наших отцов и дедов. Сердце сжимается... Неужели навеки?! Нет! нет! — отталкиваюсь от этой мысли, а душу гложет тяжелое сомнение. Я надеваю на себя маску бодрости — для других и, главное, быть может, для самого себя...

Помнится, три дня шли мы по Балтийскому морю. Я, как всегда на море, страдал от морской болезни, хотя качка была и небольшая.

Мы были в море в день именин Мама и Сони (17 сентября ст. стилия, 30 сентября нов. стилия). Писатель М.А. Осоргин (псевдоним, на самом деле — Ильин), тоже один из высланных, говорил витиеватую заздравную речь в честь всех многочисленных именинниц:

«С нами Мудрость (София), Вера и Надежда, но нет — ...Любви, Любовь осталась там... в России!»

Ранним утром мы прибыли в Штеттин. На благоустроенной пристани стояло несколько упитанных немцев с толстыми, налитыми пивом животами... — «Ну, видно нем-

цы за войну не похудели! — заметила Соня Щербакова, — у них все по-прежнему...» Конечно, это поспешное суждение было неправильно: в Германии за время войны очень многое изменилось, но для нас, приехавших из страны, пережившей катаклизм, менее резкие изменения в других странах могли казаться на первый взгляд несущественными, или даже несуществующими.

В тот же день поездом мы приехали в Берлин. И русские и немцы, знавшие о нашем прибытии, рассчитывали встретить в нашем лице жалкую, голодную и оборванную толпу беженцев. Как я потом слышал с нескольких сторон, их поразил наш «приличный» вид. Я думаю, они представляли себе нас такими, какими мы на самом деле были, когда нас «перегоняли» из тюрьмы в тюрьму в Советской России, но в Германию мы приехали сравнительно «буржуями». Всем нам удалось, относительно легко и скоро, более или менее прилично устроиться; до «ночлежек», слава Богу, никто не опустился.

Мне посчастливилось встретиться в Берлине со знакомым мне по Земскому союзу А.С. Хрипуновым. Теперь, в беженстве, он возглавил заграничные остатки Союза и как раз главный Комитет его только что переехал в Берлин. Благодаря Хрипунову мне удалось получить в Союзе приличный по тому времени, для пищи Германии, заработок. Я — крайне скромно — но все же мог прокармливать и Мама, и Сою.

Я провез мать и сестру в Баден под Веной, где тогда жили со своей семьей дядя Гриша и тетя Маша Трубецкие, которые их звали к себе, и через несколько дней вернулся на службу в Берлин. В Австрию для свидания с нами приехал из Франции брат Саша. Он проходил довольно обычную беженскую карьеру: из ротмистра гвардейской кавалерии он сначала сделался кашеваром в беженском лагере в Константинополе, потом студентом в Пражском университете, где закончил свое прерванное юридическое образование, начатое в Московском университете, потом он